

Вспенив мутную воду, катер отвалил от берега и, оставляя разбегающийся след, пошел дальше по реке; в волнах, сверкая, дробилось весеннее солнце.

Двое мальчишек остались на песчаном приплёске. Один – в долгополом пальто, рыжий с пегим от крупных веснушек широким лицом, второй – в матерчатой детдомовской ушанке и ватнике, сам такой же серый и невидный, как его одежда. Оба они настороженно и выжидательно смотрели на председателя нашего колхоза.

– Ну, что же, айда за мной. – Арсентий Васильевич тяжело пошагал наверх к колхозной конторе.

Взвалив на плечи полосатые матрасовки с пожитками, детдомовцы поплелись за ним. Катер скрылся за поворотом, но бубнящий стук мотора еще гулко разносился по воде.

В конторе было светло от больших окон и побеленных к маю бревенчатых стен. Срубили дом перед самой войной, но теперь, спустя год после неё, даже на общих собраниях в нём бывало просторно и пусто в углах.

Привычно сняв на пороге выцветшую фуражку, Арсентий Васильевич присел к единственному столу, на котором я только что разложил бухгалтерские книги. Вошедшие следом детдомовцы быстро огляделись и примостились на лавке за печкой.

– Да вы поближе сядьте, – Арсентий Васильевич поморщился, словно от зубной боли.

Мальчишки не шелохнулись.

– О колхозной работе имеете понятие? – спросил председатель уже совсем безнадежно.

За окном прогромыхала телега с семенами и, съехав с проложенной у склада стлани, мягко покатила по земле. Наперебой чирикали воробьи, подбирая просыпавшееся зерно.

– Будем молчать? Ну, архаровцы... Арха-аровцы, – нараспев, убежденно повторил Арсентий Васильевич, свернул самокрутку и посмотрел на меня: – Что будем делать?

Дел было невпроворот. Уж два дня как пахари выехали в поле, сегодня за крутым логом начали сеять горох, надо было перегонять коров на заимку, где оставалась прошлогодняя солома, а тут, как снег на голову, эти детдомовцы... Мне было немногим больше лет, чем им, но я работал в конторе, и подчас председатель со мной советовался. Сейчас, наверное, мой совет для него ничего не значил, но, очевидно, ему захотелось услышать человеческий голос.

– На квартиру их надо определить, – сказал я.

– Ага, перво-наперво на квартиру. К старухе какой-нибудь. – Он подумал. – Сбегай-ка, кликни Кондратьиху, она завсегда дома.

Кондратьиха жила неподалеку, сразу за мостиком. Когда я вернулся, детдо-

мовцы по-прежнему сидели, как нахохлившиеся воробьи, а председатель завертывал вторую самокрутку.

– Сейчас придет, – доложил я.

– Еще Дарью позови. – Он прикурил и забарабанил по столу пальцами, что означало некоторую степень раздражения. – Поди, лучше будет их отдельно поселить, а?

Дарья встретила меня не приветливо.

– Телушку напою и приду, – сказала она и, сердито загремев ведром, пошла за печь. Там жадно захлюпал теленок.

Уходя, она повесила на дверь замок. Кроме нее, никто в деревне дверей не замыкал – просто приставляли метлу или лопату.

Пока я ходил за Дарьей, Кондратьиха уже увела рыжего, и в уголке, свесив меж колен руки, сидел оставшийся хилый мальчишка.

Всем видом своим показывая, что ей некогда ходить по конторам, Дарья бочком опустила на краешек скамейки возле двери.

– Спешешь, Дарья Семеновна? – спросил Арсентий Васильевич.

Дарья поерзала, ожидая подвоха.

– А то че же? Управиться даже не дали.

– Успеется... Ты посиди, отдохни маленько. Бывает же тебе иногда охота с кем-нибудь поговорить?.. Всё одна и одна...

– Ну-ну, – сказала Дарья. – Уж не мужика ли мне нашел?

– Эх, Семеновна... – Председатель помрачнел. – Где их взять, мужиков-то?.. Мальчонку вот хочу тебе определить. Ребят из детдома на трудоустройство к нам привезли. Одного Кондратьиха приняла, а ты этого на квартирупусти.

Дарья подняла узенькие брови:

– Скажешь тоже, Арсентий. Я думала, насчет налога в контору вызвали. Так я еще намерен Ульяне сотню снесла... Мальчишка на што мне? И без него картошки до новой не хватит.

– А тебе его не придется кормить. На хлеб им в сельпо лимит даден, продуктов колхозных выпишем.

– Да не нужен мне квартирант.

– Он тебе дровишек зимой пособит напилить...

Поджав губы, Дарья молчала – дескать, пустой разговор.

– И мы же еще платить будем. – Арсентий Васильевич пошел с последнего козыря. – По пять трудодней в месяц. – Он постучал костяшками конторских счетов. – Шестьдесят трудодней в год – как раз половина минимума... Ну, пошто ты, в самом деле, без понятий – убытка никакого, и еще плата за беспокойство.

– Блудить кабы не стал...

В голосе Дарьи уже не было твердости.

– Ну, если заметишь, мы его за тем же разом в тайгу, на комары... Звать как тебя? – обратился председатель к мальчику.

Тот поежился.

– Тебя спрашиваю. Немой ты, че ли?

– Лёша...

Голос у парнишки был надтреснутый, простуженный.

– Фамилие какое?

– Пышкин.

– Ишь ты, – удивился председатель.. – Так что мотри, Пышкин. Понятно? Веди его, Семеновна... Своих забот хватает, а тут чужие навязали, язвы их в душу. – Он повернулся ко мне: – Ты тоже ступай – запряги Воронка и свези пять мешков к сеялке на Пономареву полосу. В конторе сейчас делать нечего.

Дела у меня как раз были, но я сложил книги в шкаф и пошел на кондвор.

Когда под вечер вернулся, детдомовцы кружились на исполинке. Стоял около конторы такой столб с тремя веревками, держась за которые можно было крутиться вокруг него, вроде как на карусели.

Арсентий Васильевич курил на конторском крыльчке, я подсел рядом, и он протянул мне жестяную коробку из-под чая, в которой носил самосад. С крыльца была видна река. Вода за день в ней прибыла, черемуховые кусты на противоположном отлогом берегу затопило, и мимо медленно проплывали глубоко осевшие плоты из рыжего соснового леса.

С поля пришла Ольга Филиппова, грудастая сероглазая девка, колхозный бригадир, и, одернув холщовую юбку, тоже села на ступеньку.

– Работничков прислали, видишь? – кивнул на детдомовцев Арсентий Васильевич.

– Вижу... Поди, уж головушки закружились.

– У тебя скорее закружится... Ты вот что, девка, посылай-ка их завтра на работу. Надо их к чему-то приучать.

– А куда их?

Арсентий Васильевич не ответил.

– Для начала, может, пусть они вместе с бабами попеременно на быках боронят, – предложил я. – Пока наши отдыхают, детдомовцы быков поведут, потом опять бабы... А то я сегодня два раза мимо проезжал, так за поскотиной и бабы, и быки на пашне лежали.

– Кабы быки ходили, и бабы тоже ноги таскали, – обиделась Ольга. – Лошадям хоть пополам с мякиной овёс, а быки на одном сене, и того внатруску.

– Бабы дюжие, – сказал председатель и задумался. – Придется, однако, коров к работе приучать, шибко сушит землю.

– Не дело это. – Ольга вздохнула. – Одна маета. – И, помолчав, спросила:

– Так куда новеньких посылать?

– Вот еще грех на нашу голову, язвы тебя. – Арсентий Васильевич сплюнул на сигарку и посмотрел на закат за рекой. – А солнышко в тучу садится. Хотел с завтрашнего дня посеवनую на три пряжки перестраивать, так, однако, еще погода переменится... Нечего загадывать, утро вечера мудренее. С утра и определимся. Заодно с детдомовцами решим.

Солнце не зря закатывалось в тучу – ночью пошел снег. Наутро хлопья летели густо, как зимой, и всё вокруг стало белым: крыши, городьба, улица... Противоположный берег утонул в мутной мгле, только реку снег был не в состоянии забелить, и она, вздуваясь, набирающая где-то в верховье силу перед половодьем, несла мимо деревни темную воду, по которой плыли к Оби запорошенные плоты.

Когда я пришел в контору, Арсентий Васильевич сидел спиной к окну на своем обычном месте, с краю у стола. Тут же были Ольга и конюх Антоныч – коренастый, широкоплечий мужик. Техники в нашей артели тогда еще не имелось, и где было не под силу людям, в ответе были лошади. Работы коням было много, и потому Антоныч по значимости был в колхозе вроде как сейчас главный инженер, а то, пожалуй, и больше, потому что инженер самолично тракторы и машины к работе не готовит, а тяговая сила тогда в основном зависела от Антоныча. Мужиком Антоныч слыл хозяйственным, справедливым, и только оттого, что не знал грамоты, не попал в свое время в председатели.

– Долго вытягиваешься в постели, – недовольно сказал мне Арсентий Васильевич, когда я отряхнул снег с шапки.

– Погода...

– При чем тебе погода? В контору сейчас надо пораньше приходиться.

Он был не в духе и, очевидно, еще долго бы меня отчитывал, если б в дверях вслед за угрюмым Пышкиным, державшим в руках матрасовку, не появилась разгневанная Дарья. Ни с кем не поздоровавшись, она подтолкнула мальчика к столу:

– Забирайте своего Епишку, не нужны ваши трудодни. Мало мне своего теленка обихаживать, на што мне такое...

– Обожди ты, не собирай че попало, – перебил председатель. – Объясни толком.

– Прудится он, вот и весь толк.

– Как же ты это, парень? – подивился Арсентий Васильевич.

– А в детдоме много таких, – сказала Ольга и покраснела, потому что была сильно конфузливая. – В детстве они пужаные или еще от чего... Их там ребятишки «моряками» дразнят. Они и спят в отдельном корпусе.

– Из «морского корпуса», значит, этот... Ну дела, язви тебя...

Арсентий Васильевич забарабанил по столу.

– Моряк с печки бряк, – хмыкнул я.

– Не скалься, тут дело серьезное, – строго произнес Антоныч.

– Пошла я, хлеб у меня в печи. – Дарья взялась за скобу. – Не знаю, кто такого на футере держать станет.

Дверь хлопнула. Под раскисшими ботинками Пышкина таял мокрый снег.

– Куда теперь с ним? – спросил Арсентий Васильевич.

Ольга отвела глаза. Антоныч придавил о подоконник недокуренную сигарку и решительно хлопнул себя по колену:

– Раз такое дело, возьму парня к себе. Не на улице же ему погибать.

– Настасья-то у тебя обиходная, – с сомнением произнес Арсентий Васильевич. – Не примет.

– Ничё... Лечить надо парнишку. Весну и лето мы с ним по культстанам жить будем, а к зиме, може, наладится. – Прищуренные глаза с его заветренного лица глядели по-доброму. – Ничё, – повторил он. – Отговоримся от Настасьи.

– Еще вот-ни-вот Кондратьиха придет с отказом, может, и другой такого же сословия, – сказал Арсентий Васильевич, повеселев.

– Заходила я давеча к ней, ничего она не говорила, – ответила Ольга.

– Ладно, надо, однако, мальчика на постой вести. – Антоныч взял лежавшую на лавке шапку. – Да коней сгонять напоить. Вся работа седни стала... Дарья тебя хоть покормила? – обратился он к Пышкину.

Тот промолчал.

– Скупа, ох скупа, холера... Ну, пошли.

Следом ушли остальные, а я принялся записывать трудодни в лицевые счета колхозников. На дворе заголубело, и солнце погнало с крыш превратившийся в воду недолговечный снег.

Спустя некоторое время в окно увидел обоих детдомовцев. Послonyaвшись по берегу, вскоре они куда-то исчезли.

Я было собрался идти обедать, когда в контору зашел мой погодок Серега Плотников, здешний продавец. Большую часть дня он обитал дома или в колхозной конторе, потому что в лавке торговать тогда было нечем: соль, мыло, спички в бумажных пачках – вот почти и весь ассортимент. Имелась и мука, но до вольного хлеба было ждать еще больше года, а колхозникам муку не продавали.

– Наделало слякоти, елки-палки, – Серега старательно вытер ноги о затоптанный мешок под порогом. – А то думали, уже лето вам...

С улицы донеслась замысловатая ругань – матерился кладовщик Тихоныч. Забористые присловья он присовокуплял к каждой второй фразе, но сейчас, судя по тону, не ради красного словца, а от большого расстройста.

– Не вздышет... С чего бы это? – лениво сказал Серега.

Мы вышли на крыльцо. Размахивая руками и безутишно ругаясь, с берега к конторе шел Тихоныч. Скуластое небритое лицо его выражало крайнее возмущение. Старик он был заполошный, и с ним постоянно что-нибудь приключалось.

– Лодку угнали детдомовцы окаянные, – сообщил он, переводя дух. – Я еще давеча заметил, как они возле нее шарaborились, да невдомек, что сбегать удумали. А сейчас хватился – лодки нет, растуды их... Они это, след никуда не денешь. Чтоб у них глаза повылазили, чтоб им...

– Почему же ты греби не прибрал? – спросил Серега.

– В амбаре греби... Так скотине безрогой на што им они? Отпихнулись от берега, и плыви по течению.

– Считаешь – обратно в детдом?

– Знамо, туда. Здесь же робить надо, а там за так кормят.

Лодка для колхоза представляла большую ценность. На ней ездили на покос, перевозили за реку телят и овец, на ней возили зерно на мельницу. Без лодки было никак невозможно.

– Далеко они не уплыли, – сказал Серега. – У меня обласок у омота спрятан, сейчас мы с Димкой напрямки рванем, а им плесами дотуда часа два добираться. Как раз должны их там перестрелить. Айда...

– Ружьишко возьмите попугать варнаков, – вдогонку крикнул Тихоныч.

Полями до омота было километра полтора. Запыхавшись от бега, мы стащили в лог утлый Серегин облас и, цепляясь за полузатопленный гнущийся тальник, подтянулись к холодной, неприветливой реке.

– Вот они, субчики, – шепнул Серега, раздвигая ветки. – Так и знал, вовремя поспеет.

Там, где стрежь пригибала дрожащие от напора воды талы, по течению плыла наша лодка. Пышкин, подобрав в корме ноги, подгробал палкой, а рыжий парнишка сидел к нам спиной и, жестикулируя, что-то рассказывал.

– А ну, давай к берегу! – гаркнул Серега. – Ишь, паразиты!

Вздвогнув, рыжий обернулся, увидел нас и заплакал, размазывая рукавом слезы. Пышкин перестал грести. Лицо его еще больше посерело, и сам он весь как-то съежился.

– К берегу заворачивайте, кому сказано, елки-палки!

Пышкин неумело принялся загребать, но лодку уже пронесло мимо.

– Черт непутевый, – выругался Серега. – Самим придется.

– Вывалят они нас, – хрипло шепнул я, направляя вёрткий обласок наперерез.

– Запросто, – сквозь зубы ответил Сергей и, откашлявшись, скомандовал: – Руки вверх! Выше!

Мальчишки подняли мокрые ладони. Отпущенная Пышкиным кривая палка закачалась на волнах. Ухватившись за борт, Серега перевалился в лодку. Обласок зачерпнул воды, и я перебрался вслед за Серегой, мокрый по пояс.

– Можете опустить лапы, – разрешил Серега. – Да не реви ты, конопатый...

Лодку изрядно пронесло, и, гребя одним веслом, мы с трудом подбились к талам. Забрав перепачканные матрасовки со скарбом, сникшие детдомовцы вылезли на берег.

– Бить будем? – спросил Серега.

Я оттащил обласок подальше от воды, а лодку крепко привязал к накренившейся талине.

– Да ну их...

Детдомовцы уныло шагали перед нами, вытаскивая ботинки из вязкой глины. Я не видел их лиц, только понурые спины и торчащие из воротников худые шеи.

– Какие-то они... Вроде как старички, – тихонько сказал Серега, глядя на худые фигурки.

Мне стало их жаль. У меня тоже пять лет уже не было ни отца, ни матери...

– Обождите, – окликнул я. – Давайте сюда мешки.

Мальчишки остановились и опустили на землю матрасовки.

– Мы с Гринькой чужого не брали... Здесь моя чашка, одеяло... Вот... Пышкин хотел развязать мешок.

– Да не показывай свое барахло. Помочь хочу.

Я забрал его матрасовку. Серега взял мешок у рыжего:

– Ну, ты... Кавказский пленник.

– Читали такую книжку? – спросил я.

Пышкин хмуρο кивнул.

– То-то... Топайте, Жилин и Костылин.

Детдомовцы чуть приободрились и зашагали веселей.

Если осенью от ложки воды на земле ведро грязи, то весной наберется лишь ложка грязи после ведра воды. Весеннее солнышко сушит быстро, и весь день пашня за деревянной струилой дрожащее марево. Через день работать в поле стали с утра до одиннадцати вечера с двумя перерывами для отдыха тяглу и людям. Но все же дело подавалось не так споро, как хотелось Арсентию Васильевичу. Чтобы скорее отсеяться, попробовали было боронить на коровах, однако к ярму приучили только одну комолую Пестрянку. Остальные коровы кидались с боронами из стороны в сторону или ложились на землю и жалобно мычали. Бабы жалели их и выпрягали.

Пахари с бороноволоками перебрались жить на культстан, около которого в закопченном котле повара варила всем пшеничную кашу и похлебку. На всех же были и одни застланные соломой нары, где сладко спалось после долгой ходьбы за плугом и боронами. В пригоне возле стана держали лошадей и быков. Для них с зимы сберегли и загодя сметали зарод мелкого сена, так что на кондвор в деревню гонять тягло было незачем, и Антоныч круглосуточно находился при нем здесь. Вместе со всеми на стане жил Пышкин. Ночами Антоныч будил его, и мальчишка, спросонок пошатываясь, выходил с ним на улицу в светлую весеннюю ночь. Антоныч говорил, что приучит его вставать самого, но прежде парнишку нужно сводить к бабке Варваре, которая знала травы от всяких недугов. Заняться этим Антоныч обещал после посевной. Сейчас всем было недосуг.

Рыжий детдомовец уехал. В день неудавшегося побега к нашему берегу подчалил сплавной катер, и ехавший на нем смуглый, похожий на цыгана начальник сплава участка передал Арсентию Васильевичу предписание сельсовета – немедленно направить из колхоза двух человек на сплав леса. Сезонников на лесосплав брали каждую весну, и находились они в отходничестве до тех пор, пока по реке не начинало густо плыть ледяное крошево. Между тем у нас самих в деревне не доставало рабочих рук, и колхозников Арсентий Васильевич отпускал скрепя сердце.

И на этот раз, получив бумагу, начал сетовать на то, что некому будет косить сено, убирать хлеб и вообще отправлять на лесосплав окончательно некого. Во время этого разговора в контору заявили конвоируемые мною и Серегой детдомовцы, и Арсентий Васильевич с ходу предложил начальнику сплава участка взять на сплав рыжего. Он был бы рад избавиться и от Пышкина, но тот уж слишком мал и слабосилен на вид.

Начальнику, по-видимому, рыжий понравился. Он похлопал мальчишку по плечу, назвал «рыбчиком», согласился взять помощником матроса на катер.

Рыжий так и просиял сквозь веснушки.

Кроме него все же пришлось отправить Тайку Горбунову. Но она все равно в колхозе почти не жила, зимой выполняла колхозный план на лесозаготовках, а каждое лето вместе с кадровыми сплавила плоты, так что ее только по спискам и числили колхозницей. Арсентий Васильевич был рад, что все легко обошлось, и не стал ругать Пышкина за лодку. С одним детдомовцем хлопот меньше, чем с двумя, да и благодаря рыжему на лето осталась колхозница, которая могла косить, вязать снопы и делать всякую другую женскую и мужскую работу.

Рыжий к нам больше не вернулся. Говорили, что после он еще две навигации ходил матросом на большом пароходе по Оби, а потом совсем куда-то уехал. Пышкин же остался и стал теперь вроде своего, деревенского. Всю весну он работал на старом Игреньке, безответно таскавшем по пашне две зацепленные за валеки зигзаговые бороны. Поначалу мальчишка не мог зануздать не желавшего разжимать зубы коня, путался в сбруе, долго не соображал, как завязать незатягивающимся калмыцким узлом вожжи, но вскоре освоил всю нехитрую премудрость и исправно трудился с остальными бороноволоками.

К началу июня в колхозе отсеялись и управились в огородах; пахари уехали на дальнюю корчевку поднимать пары, а женщины, которые не работали на конях, ходили мять вылежавшийся на стлеще прошлогодний лён. Из распахнутых дверей кузницы с утра разносился звон наковальни – это хромой кузнец Ванюшка налаживал к покосу старенькие сенокосилки и самоковочные вилы. Тихоньч уже отбил литовки и у солнечной стороны склада выставил просмоленные грабли. Близился сенокос, но вода с лугов уходила медленно, трава еще не поднялась, и вся страдная пора была впереди.

В последнюю субботу перед началом сенокоса Антоныч созвал деревенских мужиков обновить свою новую баню. Собственных бань в Красноярске в ту пору никто не имел, и по субботам всей деревней ходили в общую колхозную. Воды и пара в ней хватало всем, и Антоныч не стал бы канителиться с постройкой, не приключился с ним прошедшей зимой конфуз.

Случилось так, что он тогда допоздна задержался на кондворе, и когда, управившись, пришел в баню, наши немногочисленные мужики уже перемылись и разошлись по домам.

Отворив предбанник, в колеблющемся свете чадающей коптилки Антоныч увидел голых простоволосых баб – одни уже напарились и теперь, разомлев, отдыхали на низкой широкой лавке, другие расчесывали мокрые волосы либо одевали малых ребят, третьи только собирались в парную. При виде мужика женщины, прикрывая телеса, подняли крик, и Антоныч, выругавшись, затворил дверь снаружи. Однако идти домой не было резона, и он просяще сказал в притвор, откуда шло парное банное тепло:

– Дозвольте, бабы, раз такое дело, с вами попариться, – все одно там потемки... Да и неужто я нагих не видал?

Женщины посоветались и дозволили. В деревне все вроде свои, не так велик стыд. К тому же они были и виноваты – заполонили баню раньше, чем настал их черед. Раздевшись и отворачиваясь от женщин, Антоныч налил в шайку воды, плеснул ковш кипятка в каменку и полез на полку, куда почти не достигал тусклый свет коптилки. Парился он всегда в старенькой шапке и рукавицах до тех пор, пока не начинал как-то шипяще свистеть, после долго остывал на улице и только затем приступал к мытью. Однако среди маячащих белых женских тел и разноголосого бабьего гомона Антоныч чувствовал себя неловко. Наскоро похлеставшись и окатившись холодной водой, он вышел в предбанник и, прикрываясь распаренным березовым веником, стал искать подштанники. Но ни тех, в которых пришел, ни вторых, взятых на смену, не оказалось. Рубаха и портки лежали на месте, а исподние исчезли. Как ни бедно жили тогда в деревне, но ни-



кто у нас не воровал, не было греха. А тут приключился... Срамя бессовестных баб, Антоныч посовался по мокрым лавкам, напуганные женщины перерыли свое немудрое бельишко, и все же пришлось Антонычу бежать домой налегке. Не нашлась пропажа и назавтра. Потом поговаривали, что это дело рук Дарьи, имевшей на Антоныча за что-то зуб, а может, просто кто-нибудь прихватил его белье по ошибке, а признаться постыдился.

Но как бы там ни было, после случившегося Настасья заставила мужа рубить собственную баню. Лес был под боком, кони в руках у Антоныча, и между делом банька на задах в огороде была срублена. Теперь, помывшись, можно было идти домой и в одном нательном белье.

От свежеструганных плах в новой бане стоял терпкий сосновый дух, пахло распаренными березовыми листьями и раскалившейся каменкой, мгновенно превращавшей брошенную на кирпичи воду в горячий сухой пар. Хотя еще не стемнело, Антоныч щедро зажег лампу на подоконнике, и к банному окошку с улицы нальнула роившаяся в вечернем воздухе мелкая мошкара.

Мы с Петькой Вагаповым вымылись первыми и обсыхали в предбаннике, к которому Антоныч еще не навесил дверь, когда появился запоздавший Серега. По-быстрому скинув рубаху и галифе, он с веником под мышкой зашел мыться, а мы, малость отдохнув, подались домой. В предбаннике остался один надевавший линияющую одежонку Пышкин.

В ту весну я купил себе первую бритву и, хоть особой надобности в ней еще не имелось, только было собрался опробовать ее перед зеркалом, как заявился Серега.

– С легким паром, присаживайся вот на табуретку, – пригласил я. – Бриться будешь?

Я как-то сразу не заметил того, что он сильно расстроен.

– Спасибо, побрили меня уже, – он прислонился к притолоке. – Триста рублей в бане из кармана вынули.

Я чуть не порезался:

– Не может быть...

– Да правда же... С чего бы я врать стал?

– Зачем же ты с такими деньгами в баню?

– Зачем, зачем... Разве подумаешь? Ведомость на зарплату из сельпо сегодня прислали. Я сто трешниц отсчитал и – домой, а тетка Настасья навстречу: «Ступай в баню, первый пар захватишь». Захватил, елки-палки... Думал, как раз матери на налог...

Губы его дрогнули.

– Может, обронил? – предположил я.

– Да нет же. Я еще когда раздевался, в кармане пошарил – были. А одеваться вышел – чисто.

– Не могли наши взять, Серега.

– И я думаю – не могли. Я на этого мальчишку грешу, на детдомовского. Пойдем в контору, мужики уже там. И он тоже.

В конторе были все, кто только что вместе мылся. Арсентий Васильевич постукивал пальцами по столу. Антоныч, ссутулившись, курил, Тихоныч с хро-

мым кузнецом Ванюшкой вполголоса, как на поминках, о чем-то переговаривались, два Шурки и Пронька подавленно молчали. В сторонке сидел испуганный Пышкин со страдальческими глазами. Чем-то он напоминал мне нескладного человечка, каких иногда рисуют дети, – не старичок и не мальчик...

– Ну, кажись, все в сборе, – когда мы вошли с Сергеем, сказал Арсентий Васильевич и обвел собравшихся взглядом. – Скверный случай у нас вышел... Язви тебя, какой твой, Антоныч, табак дерзкий. – Он закашлялся. – Говорить даже неохота... Так вот, у Сергея только что триста рублей украли. Чужих в бане не было – выходит, кто-то из нас. Давайте по совести разберемся между собой – кто мог это сделать?

– Этакое сраму сроду не бывало, – Антоныч бросил окурочек к печке. – Сроду.

Я вспомнил про его пропажу, но промолчал. Антоныч не любил, когда ему напоминали о ней, да и случай сейчас был куда серьезней. Когда Серега в предбанник пошел, я еще окатывался, – нарушил затянувшееся молчание Ванюшка. – И зашел раньше него. Все видели.

– Ага, – подтвердил Петька Вагапов. – А мы с Димкой вместе одевались.

– Про других, как говорится, не знаю, а я Серегоных денег не брал, – сказал Пронька.

– Я тоже.

– И я, – повторили по очереди все и вольно или невольно посмотрели на Пышкина.

– Я тоже не брал, – глухо сказал он, сделавшись совсем бледным.

– Пограничную собаку бы сюда, – сказал Петька Вагапов.

– Как в кино про Джульбарса казали. Она бы моментом по следу...

– Обыск нужно сделать, – предложил Ванюшка, который всегда был сторонником крутых мер. – Никакого Джульбарса не надо. – Он в упор посмотрел на Пышкина.

– Кто деньги взял, тот сюда не принес. – Пальцы Арсентия Васильевича опять стали выбивать беспорядочную дробь. – Слушай, Пышкин, а может быть, но ты как-нибудь нечаянно? Может, с пола поднял? Вспомни.

Пышкин, потупившись, молчал.

– Сколь волка ни корми, он, туды его, всё в лес норовит, – начал закипать Тихоныч. – Лодку тогда тоже не ты угонял? Это же вредительство...

– Нечего нам тут голову морочить, лучше отдай без греха. – Ванюшка поднялся и, качнувшись на косолапой ноге, сделал шаг в сторону Пышкина.

– Не видел я никаких ваших денег! – отчаянно крикнул Пышкин, сжавшись, как затравленный зверек.

Он был один против всех. Никто не верил ему, никто на всем свете.

– Не трожь, Иван, – вмешался Антоныч. – Нельзя так. Раз такое дело, видно, мне отвечать за Сергееву пропажу. В моей бане случилось.

Ванюшка поднял густые сросшиеся брови, потоптался и сел.

– Э-э, нет... На што себя наказывать? – возразил Арсентий Васильевич. – Не правда, допытается, кто вор... Не может быть, чтобы не допытались.

– Бросьте все это, – не выдержал Сергей. – Хрен с ними, с деньгами.

– Кого бросить? – вскинулся Ванюшка. – Леший, что ли, по баням ходит? Триста рублей... Мне, знаешь, за такие деньги сколь трудиться надо? Или ты сильно богатый?

Сергей не ответил.

Арсентий Васильевич молча взялся зажигать лампу. Электричества тогда у нас не было, и по вечерам в конторе горела пожиравшая массу керосина ви- сячая лампа-«молния» с жестяной крышкой вместо рефлектора. Ведал лампой председатель сам, не доверяя столь ответственного дела ни мне, ни нашей по- сальной Тоньке. Самолично подстригал фитиль ножницами, сам вывертывал его на нужную длину и сам же зажигал серянкой. И сейчас, поколдовав над «молнией», зажег ее, и сразу за окнами сгустилась темнота.

– Так че ты нам скажешь, Пышкин?

В гнетущей тишине потрескивал фитиль, видимо, керосин был с водой. Во- круг лампового стекла вились слетевшиеся на свет комары.

– Че же ты нам скажешь?

Пышкин, Пышкин! Наверное, ты на всю жизнь запомнил, как в этот драма- тический момент скрипнула дверь и появился твой ангел-спаситель – Антоны- чева соседка Татьяна Майданова.

Прищурившись, Татьяна прикрыла ладонью лицо не-то от едкого самосад- ного дыма, не то от света.

– Батюшки, полну контору накурили. И как им не опостылет этот табачище!

– Ты, Васильевна, по делу али так? – строго спросил Арсентий Васильевич. – Сопещание тут по одному вопросу.

– Так и у меня этот самый вопрос. Не приведи, Господи. – Она горестно всплеснула руками. – Варнак-то мой, Сенька, че наделал – жмень денег домой принес: «На, мамка, чаю фруктового купишь...» Ноженьки мои подкосились: «Сыночек, где же ты их взял?».

– Так я же видал, как он через городьбу лез, – вспомнил Тихоныч. – Ах он, туды его...

– А всё табак этот проклятуший, – в сердцах сказала Татьяна. – Вы же, му- жики, и приучили мово Сеньку курить. Он в суседской бане в чей-то карман за куревом полез, а натакался на другое... Ведь сама какую нужду терпела, чужой крошки не трогала... Мало мне свово горя... Я было за ремень, да одумалась... Побегла к Настасье, она и говорит – деньги-то Сергеевы. Мужики, мол, в конто- ру дознаваться собрались. Тошно мне. Так я тем же следом сюда. Вот...– Татья- на вынула из кармана фартука пачку кредиток. – Вот они, Сереженька, деньги. Прости, Христа ради, мово Сеньку. Без отца ведь растет.

Днями Татьяна бывала на работе, подчас ночевала где-нибудь на дальнем культстане или покосе, и ее семилетний Сенька частенько оставался голодным. Не раз его захватывали на чужих грядках, но никто не предположил, что это он позарился на деньги.

– Скажи на милость! Че с него станет, когда вырастет? – подивился кто-то. Серега при всех пересчитал зеленые трешницы.

– Все целы... Спасибо, Татьяна Васильевна. А то мы тут...

– Не грешите ни на кого.

Татьяна, поклонившись, ушла, и все заговорили возбужденно, враз. Довольны были, что нашлась пропажа, и каждый в душе радовался за себя – ведь, как ни говори, если бы вор не обнаружился, пятно осталось на всех.

– Вот и догадайся, кто взял.

– Уши бы нарвать варнаку.

– Да чего там... Безотцовщина.

В углу раздалось всхлипывание. Плакал Пышкин. Занятые разговором, все как-то забыли о нем, а у него, крепившегося до сих пор, вдруг прорвались долго сдерживаемые рыдания. Я вспомнил, что он не заплакал даже тогда, когда мы с Серегой настигли его во время побега, а сейчас, по-детски всхлипывая и утирая кулаком слезы, он рыдал от обиды и напраслины. Маленькая тень на стене, вздрагивая, плакала вместе с ним.

Стало неловко и стыдно.

– Слышь, успокойся, парень, случается, язви ее, в жизни промашка, – попытался утешить его Арсентий Васильевич. Серега достал из пачки тройку:

– Возьми.

Пышкин отвернулся, и его худенькие плечи затряслись пуще.

– Обидчивый, – сказал Ванюшка. – Никто же его пальцем не тронул.

Один по одному мужики стали расходиться. Пышкин перестал плакать и понуро сидел в углу.

– Айда, Пышкин, – сказал, подымаясь, Антоныч. Нам же с тобой еще коней попроведать надо. Ну, не тужи, я на тебя не думал худого... – Антоныч беспалой рукой погладил мальчика по голове. – Все из-за Серегу получилось. На нашу голову мы его зазвали... Айда, сынок.

Пышкин жалко шмыгнул носом и, утерев рукавом лицо, ушел с Антонычем.

Я вышел из конторы. В темноте удалялись две фигуры – большая и маленькая. Ночь была тихая, безоблачная, небо на закатной стороне за рекой было чуть посветлее, и казалось, оттуда слышно, как растет трава.

А через месяц, словно островерхие грибы, уже стояли стожки на высветленных косарями лугах, и только буреющая осока клочками темнела в топких низинах, вокруг озер, на которых за лето стали на крыло утиные выводки. Но еще не слежалось на остожьях сено и не развеяло ветрами медвяный запах вянущего разнотравья, как нас захлестнула уборочная страда.

Не вытянулась на покосах отава, а в хлебах уже застрекотали лобогрейки, припадая к земле, побежали за ними женщины, оставляя позади кинутые на жнивье перепоясанные вязками снопы остистой ржи. Доспел хлеб в суслонах, и повезли возами снопы на ток, где под соломенной крышей стояла довоенная молотяга-полусложка. Затарахтел, набирая разгон, присланный летом из района движок, завертелись шкивы и посыпалось, потекло на разметенную земляную ладонь первое вымолоченное зерно.

Лишь в коротком сне забывались колхозники, чтобы до света вновь взяться за страдную крестьянскую работу. Ухала в ночи, глотая снопы, старая молотяга, хлопала, нагоняя ветер, веялка, и в рассеивающемся свете керосиновых фонарей качались изломанные людские тени. Из сыпучего вороха зерно на быках везли в сушилку, оттуда, еще хранящее жар печи, – на склад «Заготзерно». За

войну наголодались, второй год ждали вольного хлебушка, но где-то нуждались больше нашего и кто-то всё еще не имел даже своего крова над головой. Там, где огнем и железом перепахала землю война, было трудней и голодней.

В страду Пышкин тоже работал на Игреньке, привычно оттаскивавшем от молотяги солому, которую Антоныч и недавно вернувшийся из армии Петр Жуков пласт к пласту укладывали в зароды, похожие на золотистые караваи. Ощущая за спиной горячее конское чихание, Пышкин торопливо водил Игреньку в поводу, помогал спячивать волокушу к грохочущему соломотрясу, откуда безостановочно валилась рассыпавшаяся солома, охрипшим голосом понукал, когда надо было стронуть копну с места.

Мальчишка привязался к коню, разнуздывал его во время коротких перекуров, давая возможность чего-нибудь пожевать, сам водил поить в ложбину за гумном, а после водопоя украдкой пытался сыпнуть лишнюю плицу овса. За лето Пышкин подрос, окреп, лицо его стало нежней и мягче, словно мальчуган помолодел за это время. После того памятного случая с деньгами в деревне стали как-то иначе относиться к Пышкину. Будто были виноваты в том, что несправедливо обидели, а может, острее почувствовали жалость к нему, сирому, очутившемуся среди чужих людей.

В каждом доме было свое горе, и рядом с великой бедой, которую принесла всем война, судьба мальчишки могла остаться и незамеченной, но, видно, много любви в сердцах русских женщин, что хватило жалости и на безродного сироту. За обедом на культстане солдатка, у которой у самой осталось на руках двое, протягивала парнишке калачик, бабка, не дождавшаяся с войны единственного сына, брала с собой на работу лишнюю шаньгу для Пышкина. Не больно красноречивы были наши деревенские, но находились у них для мальчишки ласковые слова, которые говорят только матери и которые тоже нужны, как хлеб. Может, видели женщины в мальчишке что-то от не вернувшихся сыновей; может, надо было им на кого-то потратить свою неизрасходованную любовь... И Пышкин, вырванный войною из детства, рано замкнувшийся в себе, сам становился общительней и ласковей к людям.

Помню, как-то под вечер, когда я что-то писал, Пышкин зашел ко мне в контору. Сюда он заглядывал редко, а если и появлялся, то молча посидев за печкой, так же незаметно и тихо уходил. Но на сей раз он прошел к столу и, сев у окна, всё поглядывал на меня, словно хотел о чем-то спросить.

– Тебе что-нибудь надо? – спросил я.

– Бумаги... Чистый лист. – Он откашлялся. – Если можно. И еще карандаш.

– Написать письмо?

– Нет... Рисовать.

Я удивленно посмотрел на него.

– У дяди Пети завтра день рождения. Хочу ему картинку.

– Антонычу, что ли?

– Ну да. А что я ему еще подарю?

– Вот оно что. – Я вырвал два листка из середины неначатой кладовой книги.

– На... Только они разлинованы.

– Ничего, – сказал Пышкин. – Пусть хоть какие.

– Карандаш возьми химический. А это простой. Еще красный есть. Вот...

Пышкин взял карандаши.

– К бабке Варваре водил тебя Антоныч?

Он кивнул.

– Вылечила?

– Ага. – Пышкин помялся. – Можно, я тут порисую?

– Почему же нельзя? Можно.

Я отодвинул разложенные бумаги. Он сел удобнее, послюнил карандаш и нарисовал коня. Лебединая шея, хвост трубой, две ноги вперед, две – назад. Иноходец. Раскрасил красным. Получился конь-огонь.

– Молодец, – одобрил я. – Антонычу понравится.

– Тебе тоже могу нарисовать, – сказал Пышкин серьезно. – Хочешь?

– Давай. – Я вырвал еще два листа. – Войну нарисуй. Танки, самолеты...

– Лучше тебе тоже коня.

– Ну, как хочешь.

Склонив голову набок, прикусив от старания кончик языка, он нарисовал мне коня. Волнистая грива, широкая грудь, копыто роет землю. Совсем как наш Байкал, на котором ездил Арсентий Васильевич.

– Вот возьми. – Он подвинул мне рисунок.

– Спасибо.

Я подарил ему всю книгу:

– На, рисуй, когда захочешь.

После в каждой избе я видел приклеенные крахмалом листы бумаги с красными конями. Это всем рисовал Пышкин. Даже Дарье. Только конь, которого он подарил Антонычу, был самым лучшим,

Всё вокруг менялось, словно оттаивало после долгой лютой зимы. Однако нельзя сразу уйти от горя, невозможно было после великих утрат круто изменить нарушенную жизнь...

Молчаливым напоминанием о довоенном времени стоял у крутого, разделявшего деревню надвое, лога срубленный в конце тридцатых годов тогдашними ребятами клуб. словно улей гудел он вечерами в ту пору, а сейчас только его звонкие, уже потемневшие бревна напоминали, как кружились здесь пары в круговерти-метелице, как с выходкой отплясывали «цыганочку» парни и, сбивая подборы о половицы, рассыпали дробь разругавшиеся девки, после чего, разгоряченные пляской, бежали поостыть в прохладные сени. Рябило здесь в глазах от хороводов, не хватало воздуха гармони и от стукотка и песен допоздна дребезжали стекла в окнах, к которым с высоких уличных завальниц тянулись любопытные ребяташки.

Но во время войны без ушедших в армию ребят их ровнедевка в клубе стало делать нечего, люди больше не собирались здесь – кому до вечеров было в те годы! А потому, когда потребовался кирпич на трубу в телятник, разобрали нахолодавшую за военные зимы клубную печь, затем для какой-то ремонтной надобности сломали галерку и увезли доски. Делали это от нужды – откуда было взять колхозу кирпич, когда сарай за деревней, где месили глину и обжигали

кирпич, давно зарос бурьяном; откуда взяться плахам, если некому стало распилить на доски сутунок маховой пилой?

В заброшенном клубе весной яровизировали картошку, сюда свозили зерновые отходы с гумна, и женщины трепали здесь походившую на их седые пряди волос льняную кудель. Словно запавшие глаза, смотрели на улицу темные окна, и когда студеными зимними вечерами в уцелевших стеклах отражался огонек из стоявшей через дорогу избы одинокой Дудичихи, казалось, что в пустом, занесенном снегом здании теплится свет. Сжимаясь от стужи, потрескивали промерзшие углы, было боязно, и девчонки, проходя мимо, ускоряли шаги – говорили, будто слышали, как кто-то ночью, поскрипывая половицами, ходит в клубе, тщетно ищет в потемках потерянное или забытое... Но хоть острой болью бередила сердце память об отнятом, хотя недоставало многого, всё равно жизнь шла к лучшему, и людям нужно было какое-то веселье. Ребят, построивших клуб, не стало, не было половины тех, кто собирался здесь до войны, и теперь мы – рано повзрослевшие, но еще не ставшие взрослыми парнишки и девчонки – были в ответе за веселье.

Однажды летним вечером мы выгребли из клуба скопившийся сор, смели метлами пыльную паутину, а на следующий день побелили белой глиной стены и вымыли пол. Тихоньч, на удивление даже не ругнувшись, достал из амбара сбереженные внутренние рамы, и мы вставили их взамен наружных, у которых были побиты стекла.

Но в посветлевшем помещении, где гулко раздавались голоса, всё равно не пахло жилым. Не чувствовали мы себя уютно, а может быть, просто еще не привыкли к клубу. Да и не только мы, Арсентий Васильевич с Антонычем по привычке шли после ужина подымить самосадом в колхозную контору. И женщин тоже не манило в клуб – они, как и прежде, коротали вечера дома.

У нас не было ни гармонии, ни гармониста, только старенький, еще до войны полученный колхозом в премию патефон, да у Петьки Вагапова имелась трехструнная балалайка, на которой он мог тренькать «коробочку» и «подгорную». Такой музыкой народ было не собрать, и тогда кто-то из нас предложил поставить пьесу. Хотя днями мы сильно уставали, всё же, таясь, провели несколько репетиций, и через неделю на обороте плаката с агротехсоветами я крупными печатными буквами написал афишу.

Назначили спектакль на субботу, когда по случаю бани колхозники с работы возвращались раньше обычного. К вечеру у тех, кто жил по соседству, собрали табуретки, из конторы притащили скамейки, а девчонки принесли из дому шторы на окна и горшки с геранью. Не было только занавеса – его раскроили на рубахи ушедшим в армию ребятам последнего призыва.

Пока сходилась народ, мы с Серегой крутили на пустой сцене патефон. Серега менял пластинки, а я точил на бруске короткие стертые иглы. Держать их было неловко, я быстро нажег оселком кончики пальцев, но Серега за иголки не брался. Он для форса отрастил на указательном пальце длинный ноготь и оберегал его, соврав мне, что ноготь не разрешает ему остричь мать, так как он, Серега, быстро облупляет им вареную картошку.

Пластинок было всего ничего: «Танец маленьких лебедей», румба, танго, два

романса в исполнении Козловского. Но больше всего нам почему-то нравился марш из «Аиды». И сейчас, услышав то знакомое, я вспоминаю наш клуб с еще не выветрившимся запахом льняной костры и прели, будто опять вижу повязанных платочками колхозниц и слышу ликующую музыку Верди с постукивающей на трещинке ногинской пластинки.

Последней, хотя ей было ближе всех, пришла в клуб одинокая Дудичиха.

– Гляди-ко, а ведь нас еще целая артель народу, – молвила она, оглядев собравшихся, и, раскинув руки, пошла мелко перебирать ногами:

И-их, и-их, и-их... Сыпала, посыпала

Погода сыроватая...

Опустилась на ближнюю лавку, перевела дух:

– Позабыла уже, когда в последний раз плясала... С непривычки-то чижало.

Хоть посидеть, поглядеть на молодых. Вон они, как гудочки, повытянулись... Вроде бы не с чего и расти.

– Как есть вся деревня сошлась, – сказал Серега, складывая пластинки, – ровно на какой праздник, елки-палки.

Впоследствии мы даже ставили своими силами «Без вины виноватые» и «Разлом», а в тот первый вечер сыграли маленькую пьесу, название которой теперь уже позабылось. Я представлял эсэсовского офицера, непрошеным гостем заявлялся в крестьянский дом и спесиво требовал, чтобы меня вкусно накормили. Черноглазенькая Санька Беспрозованная, игравшая хозяйку, начинала «варить» для меня в чутунке последнюю курицу и тайком посыпала сынишку за партизанами.

Я строжился, коверкая язык, требовал, чтобы «курошку» приготовили быстрее, хозяйка оттягивала время, а зрители переживали. Особенно близко принимали к сердцу сидевшие на передней скамейке босоногие ребятишки, некоторые умудрились даже залезть к нам на сцену. Я топал одолженными мне на вечер чужими, тесными сапогами, стучал деревянным револьвером, но вот, наконец, ворвались «партизаны» – Серега, два Шурки, – и я полез под стол.

В зале торжествовали и смеялись.

В тот вечер мы играли впервые в жизни, почти не слыша суфлировавшего за сценой Ванюшку, отчего говорили больше по наитию, сами стараясь выдумать реплики посмешнее. Зато вкладывали в игру всю душу, – так хотелось, чтобы не было сегодня грустных лиц, чтобы всем было хорошо и весело, потому что все страшное уже прошло.

– Гитлер капут! – кричал я из-под стола. – Гитлер капут!

Заразительно, совсем как молодая, смеялась Дудичиха, улыбалась, посветлев морщинистым лицом, потерявшая обоих сыновей Корючиха, и Пышкин, сидевший на передней лавке с ребятишками и оттого казавшийся больше ростом, тоже морщился от смеха. Жизнь становилась лучше, надо было снова учиться смеяться всем, кого разучила это делать война.

После я уже часто видел улыбку на лице Пышкина, отчего оно всегда становилось милым и трогательным. Порой на работе он что-то с лукавой смешинкой приговаривал Игреньке, и конь, обнажив полусъеденные зубы, казалось, тоже беззвучно смеялся вместе с ним.



К середине октября в ту осень уже отмолотились. Смолк остывший движок, не слышно стало стрекотания жаток, окриков коногонов, скрипа груженных снопами телег. Под опустевшими крышами токов солодело пахло преющей мякиной и мел утоптанную землю ветер. В перекопанных огородах, где еще недавно фиолетово-белыми цветами пестрела картошка, теперь сохли обожженные заморозками плети ботвы и бродили куры. С тихим осенним шелестом отошел листопад, и под оголившимися березами на краю деревни отовсюду стали видны темные кресты сельского кладбища.

Тянулись на юг косяки гусей, и в разрывах туч над ними бледное небо казалось далеким и холодным. Утрами уже нельзя было пахать зябь – застывала земля и на безлюдных полях за околицей гулко ухали выстрелы – это Арсентий Васильевич стрелял вылетающих на жнивье косачей.

Накануне Октябрьской исподволь пошел снег. Пушистые снежинки сначала полетели редко, потом все гуще, сплошной, белым роем возникая из белесой мглы над самыми изыбытыми крышами. Белой скатертью укрыло поля, огороды, колеи проселочных дорог – все стало по-зимнему светлым и чистым.

С наступлением холодов жизнь в деревне пошла спокойнее и размереннее. В пропахшем навозом дворе мерно пережевывали жвачку коровы, скрипели по первопутку дровни; засевая снег желтыми смолистыми опилками, ширкали по вечерам на улице пилы. Нехотя выползал в морозный воздух стынущий фиолетовый дым из труб, а в избах возле печей было хорошо и уютно.

Жаркие кедровые дрова докрасна раскаливали плиту в колхозной конторе. От печного тепла всю зиму не замерзали здесь окна, и только в лютые холода мороз оседал в притворе пушистым инеем. Посыльная при конторе Тонька в чирочках и портяных чулках вместе со стелющимся по полу студеным воздухом забегала в дверь и, постучав ногой об ногу, чтобы согреться, бралась за эмалированный чайник с водой.

– Язви тебя, соленого, че ли, наелась? – интересовался Арсентий Васильевич.

Сам он, зайдя с улицы, проходил к печке, а если бывало особенно холодно, прислонялся к теплым кирпичам и неизменно говорил:

– А ведь морозчик, язви его в душу. Че будем делать?

Зима в том году выпала морозной. После снегопада надолго установились ясные, ветренные дни, когда режет глаза слепящим снегом и сиверок, обжигая лицо, сводит губы так, что в розвальнях даже не можешь вымолвить «тп-р-ру», чтобы выскочить на дорогу и, согревая озябшие ноги, пробежаться за трусящим рысцою заиндевелым конем. Лохматым куржаком одело лес, обещая к весне добрые озими, сухой поземкой переметало дороги, санные полозья шли тяжело, со скрипом, как по песку.

Более половины колхозников становились в зимнюю пору возчиками: сено, солому, дрова, почву – все нужно было возить гужевым транспортом.

От самого Каргаска, где вливает в Обь торфянистую воду извилистый Васюган, до Нового Игола, что стоит на краю большого непроходимого болота, откуда берет начало наша река, за много сот километров туда и обратно шла в те годы на перекладных васюганская почта. От поселка до поселка с колокольцами под дугой рысили понукаемые колхозными ямщиками мохноногие лошаденки

и дремали, завернувшись в тулупы, утомленные бесконечной дорогой сопровождавшие почту связисты. Заслышав звон колокольцев, сворачивал с дороги в снег любой обоз, а почта, не останавливаясь, шла своим путем, и только пока перепрягали лошадей, успевали сопровождающие погреть где-нибудь в конюховке окоченевшие ноги и пропустить кружку горячего чая.

Всю войну Игренька возил почту, и сейчас, на вторую послевоенную зиму, Антоныч в последний раз определил его для этой же работы. Резвости в мерине осталось маловато, но сено возить было тяжелей, а лес и подавно. Поскольку Пышкин летом работал на Игреньке, то и зимой парнишку решили оставить при нем же. Нашли ему тулупишко, пимы, и стал Пышкин ездить с почтой. Закрепили ему еще и второго коня, потому что почту возили на паре: в передней кошеве ямщик, во второй – сопровождающие, которые всегда ездили по двое.

Работать на почтовых лошадях было не тяжело. За полтора часа Пышкин доезжал до Тевриза, где находилось почтовое отделение, а уже дальше почту везли лошади из соседнего колхоза, правил которыми другой ямщик. Пышкин же своих коней распрягал и сутки ждал встречную почту. С нею затем ехал обратно, попутно забрав письма и газеты для своих деревенских.

Заслышав звон колокольцев, в контору собирались колхозники: такой уж заведен был порядок, что пакет с почтой распечатывали в конторе.

Радио у нас тогда не было – первый батарейный приемник для колхозной конторы купили лишь в сорок восьмом, и только почта регулярно, хотя и с опозданием, приносила издалека новости в наш таежный край. Еще недавно приходили сюда известия с фронта и короткие письма от тех, кого проводили в грозную годину. И бывало, что сровняло уже снегом холмик над солдатской могилой, а последний привет солдата всё еще в пути, всё еще везут его с военной почтой на перекладных, вместе с тысячами таких же солдатских писем от живых и убитых...

И, вчитываясь в торопливо написанные карандашом бегущие строчки, облегченно вздохнет жена, воспрянет мать-старушка и пойдет по родне и соседям передавать поклоны. Станут дома крепче надеяться и опять ждать, ждать... Но бесконечной суровой нитью потянутся однообразные дни... Будут, удаляясь, скрипеть ночами полозья за застывшими окнами, будут звенеть в морозном воздухе почтовые колокольцы, но всё меньше в том звоне будет надежды, а всё больше печали и грусти.

Однако и сейчас еще всякий раз, когда вскрывали в конторе пакет с очередной почтой, словно ненароком зашедшие сюда солдатские матери и вдовы тянулись к тоненькой пачке писем. Ведь было же, что два года во время войны не имела Горбунова весточки от сына, а в сорок пятом объявился сам Михаил. Ведь вернулся же в Новом Васюгане домой солдат после двух похоронных... Ведь было же так, было... Почему же не могло случиться еще?

Немного писем приходило в нашу деревню. И Пышкин, который сам возил почту, тоже не получал их. Хотя иногда мне казалось, что, глядя на чужие конверты, он тоже чего-то ждет. Видно, так устроен человек, что ждет и тогда, когда ждать уже нечего. Наверное, так легче жить. Зазвенят переливчатые колокольчики под дугой и отзовется в сердце серебряный звон надеждой...

– Слышь, Николаич, а тогда вместе с детдомовцами ихние метрики прислали в колхоз? – спросил меня однажды Антоныч.

– Были какие-то документы. – Я порылся в шкафу и достал с нижней полки скоросшиватель. – Есть школьное свидетельство, характеристика... А вот свидетельство о рождении: Пышкин Алексей Васильевич, родился в таком-то году в Ленинградской области. Район указан, село... А что?

– Може, у него там из родни живой кто остался... Отец его в первые дни на фронте погиб, а он с матерью и братишкой в своей деревне жил... В этой самой, какую ты сейчас назвал. Голодовали, сказывает, шибко. Как-то его мать за продуктами в соседнюю деревню пошла и не вернулась. Померла с голоду либо еще че. Бои рядом шли, немцы близко... Парнишек обоих, раз такое, значит, дело, тетка к себе взяла. Немец стал обстрел вести, убило и тетку... – Антоныч закурил. – И братишку бомбой разорвало. На огороде, говорит, только голову да левую ручку нашли... Пятый годик парнишечке шел. Ну, а старшего в детдом вакуировали...

– Да, хлебнул парень. – Я закрыл скоросшиватель. – Он мне тоже про себя как-то рассказывал, только не всё...

– А знаешь че? Ты попытай, напиши-ка в сельский Совет. Адрес у тебя известен. Пропиши, живет, мол, у нас в колхозе присланный детдомовский парнишка родом из вашего села. Нет ли у него кого в живых из родни? Може, кто и объявится. Веселее жить парню будет. Все-таки своя кровь. Только ему сказывать не надо. А то отпишут худо, только расстройство.

В этот день мне было недосуг, на следующий день тоже, но на третий я все же собрался и написал. Арсентий Васильевич прочел, подписал и для верности даже придавил круглую печать. Прошел месяц, второй... Ответа не было.

...Это случилось в конце марта, когда уже по-весеннему долгими днями на открытых солнцу полянах оседал снег, затвердевавший по ночам хрустящим настом. В оврагах между полями понатропили зайцы, потемневший от вытаявших шевяков и сена зимник уже проступался под конскими копытами, неокованные полозья обрезали дорогу и сани заносило в раскаты. Зимник рушился, и скоро нашей связи с большим миром предстояло прерваться, пока по освободившемуся ото льда Васюгану не придет снизу первый почтовый катер, а вслед за ним, дымя и оглашая гудками многочисленные излучины, пришлепает старенький колесный пароход с пассажирами.

Но до половодья было ждать еще больше месяца, а в тот мартовский день Пышкин привез в контору последнюю зимнюю почту. Развернув шуршащую оберточную бумагу, я достал пачку газет и писем. Первым лежал конверт, на котором валившимися друг на друга буквами было выведено: «Пышкину Алексею Васильевичу»... Письмо было из Ленинградской области, фамилия отправителя неразборчива.

– Пышкин, – позвал я. – Тебе письмо.

Он взял конверт, долго недоуменно разглядывал его и, неумело надорвав, вынул два исписанных тетрадных листка. Прочел первые строчки, и губы его задрожали.

– Откель? – спросил кто-то.

Весь напрягшись, он торопливо прочел до конца и стал перечитывать снова.

– Не иначе, родня объявилась. – Ольга Филиппова под села рядом и положила ему руку на плечо. – Или кто из детдомовских вспомнил?

– Мама, – сказал Пышкин. Голос его осекся. – Мама меня нашла...

Что-то совсем новое было в его лице. Радостное и в то же время беспомощное.

– Что пишет-то?

– К себе зовет.

...Пышкин не дождался парохода. Он уехал на буксирном катере, спускавшемся вслед за льдом к Оби и причалившем с баржей на ночлег под яр у нашей деревни. За неделю до этого Настасья, собирая парнишку в дорогу, перекроила ему Антонычеву саржевую рубаху, связала портяные носки и сшила из чего-то перелицованного брюки. Старая Корючиха подарила почти новенькую суконную кепку. Бородиниха принесла пиджак сына. Только с обувкой у мальчишки было худо – детдомовские ботинки износились, а новых достать было негде. Накануне отъезда выручила Ольга Филиппова – отдала чирки не вернувшегося с фронта брата... Всем миром снарядили Пышкина так, чтобы не совестно было ему ехать с добрыми людьми.

Катер пришел поздно вечером, а на рассвете, лишь чуть проступили в клубящемся тумане берега, моторист начал заводить мотор. В деревне еще спали, провожать Пышкина пришел только Антоныч. По крутому узкому трапу парнишка взошел на баржу и повернулся лицом к деревне.

– Эй, на берегу, сына провожаешь? – простуженным голосом спросила с палубы невыспавшаяся девка-шкипер в чунях на босу ногу.

– Сына, – сказал Антоныч.

– Эхма, вся жизнь в проводах... – Девка потянулась до хруста в костях и зевнула. – Чалку отдай.

Антоныч сбросил с вкопанного у воды столба срощенный в петлю конец веревки. Катер застучал громче, отчалив от берега, натянул выскочивший из воды трос, и баржа медленно скользнула по сонной поверхности реки. Пышкин сорвал с головы кепку и все махал ею, пока не скрылись с глаз в тумане серые избяные крыши нашей деревни.

Много было коренных деревенских, покинувших нашу Красноярку в разные годы и постепенно забывавшихся, а Пышкин прожил с нами всего год. Пока был на глазах, его жалели, а уехал и вскоре о нем перестали вспоминать. Только Антоныч порой вдруг задумывался и, ненароком вздохнув, всыпал Игреньке лишнюю пригоршню овса да при взгляде на нарисованных коней иногда теплели усталые глаза женщин.

Как один день отошла очередная посевная, окунулись зеленью поля, хлеба после снежной зимы пошли сильнее и гуще, опять медленно уходила с лугов вешняя вода... Накануне покоса зашел ко мне в контору Антоныч. Размотав вытканную опояску, которой подпоясывал зимой ватную фуфайку, а летом спасававший от гнуса пиджак, достал кисет.

– Киношников проводил, – сказал он, закуривая. – Посулились через неделю опять приехать.

– Поглянулась вчера картина? – спросил я.

Антоныч кивнул:

– Чувствительная. Такое кино я уважаю. А то другой раз не поймешь, че к чему. – Он замолк и посмотрел на меня. – Всё хочу спросить, как это так срисовано, будто и взаправду люди ходят, разговаривают.

– Это не срисовано, – сказал я. – Это артисты представляют.

– Не должно быть, – возразил Антоныч. – Че-то ты не то говоришь. Срисовано всё там.

– Да правда же – артисты. Вот вчера Крючков играл, а его до этого еще в одной картине показывали. Помнишь, такой браваый, с баяном?

Антоныч надолго задумался, потом вдруг хитро прищурился:

– А петух?

– Что петух? – не понял я.

– Петуха вчера казали. Горластого такого. Это тоже, по-твоему, артист?

– Так ведь снимают же. На пленку снимают, а потом через аппарат прокручивают. Крючкова сняли, петуха сняли, тебя могут сфотографировать, и ты же сам на себя будешь в кино смотреть.

– Значит, хвотографии. Так бы и пояснил сразу, а то артисты, артисты, – Антоныч вроде даже обиделся. – А я ведь по делу зашел, – сказал он, помолчав. – Карюха третьего дня ожеребилась, запиши жеребеночка. Масти буланой, жеребчик.

Я достал из шкафа узенький бланк акта на оприходование молодняка и тетрадку, в которую недавно выписал по алфавиту из учебника по древней истории понравившиеся мне имена. У Антоныча не было изобретательности, он все сводил к масти, и поэтому лошади у нас в основном были Воронки, Серки, Карюхи, Рыжухи... То ли дело – Аполлон, Афродита...

– Назовем его Буцефалом, – предложил я, обмакивая перо в непроливашку. – Ага?

– Это че за кличка? – не понял Антоныч.

– Был такой великий полководец Александр Македонский, а у него был конь Буцефал...

– Не, – возразил Антоныч. – Я другое имя хочу дать. Жеребеночек славный, ласковый. Я его Пышкиным назвал.

– Ты что? – изумился я. – Нельзя человеческую фамилию коню давать.

– А как же тогда – Горбуниха? – спросил Антоныч.

– Ты же знаешь – у нее другая кличка, – сказал я. – А кобылу стали так звать после того, как Варенька Горбунова, которая на ней воду с реки возила, уехала. Горбуниха вроде прозвища, а настоящая кличка – Гнедуха, ты же сам знаешь!

Антоныч почесал за ухом.

– Ну, раз такое дело, пиши как можно. Только я его буду Пышкиным звать... Ты приходи поглядеть – любопытный жеребенок.

– Я записал в акте: «Кличка – Буцефал».

Жеребеночек был буланный с белой пролысиной во лбу. И задняя левая нога тоже была светлой, как будто в чулке. Но выглядел он некрасивым, большеголовым, и шерсть под нижней губой росла пучком как редкая бороденка. Все-таки

он был позднышкой. Зато действительно оказался ручным и ласковым. Колхозные ребяташки, днями обитавшие на кондворе, сразу полюбили его и, взобравшись на городьбу пригона, в котором малыш ходил с матерью, звали:

– Пышкин, Пышкин...

Жеребенок доверчиво тянулся к ним, и ребята давали ему краюшку. Хлеб стал уже вольным и его хватало всем.

На третьем году жеребчика подложили и начали запрягать. Стал он конем не могутным, но тягущим, – всегда тянул в упор и не лукавил.

Артель наша к тому времени объединилась с двумя соседними и контору перевели на центральную усадьбу укрупненного колхоза. Укрупненным он только назывался – хозяйства, с которыми объединились, были тоже маломощными, народу прибавилось, но силы для размаха не хватало.

Деревни стали свозить в одну, и, коль уж пришлось стронуться с места, часть наших деревенских уехала совсем. Уехал куда-то на Иртыш к дочерям Антоныч и вскоре там помер. Еще раньше переехал в город Арсентий Васильевич, не стало Тихоныча, взяли в армию подростки ребят...

А на Васюганье пошли перемены, вконец изменившие всю нашу жизнь. Понаехали издалека экспедиции с тракторами, полевыми вагончиками, буровыми станками. Искрестили поля и дороги следы стальных гусениц, пролегли в несколько накатов гати через казавшиеся непроходимыми болота, запахло соляркой там, где прежде пахло лишь пихтой и багульником. Мы всегда брали то, что родила земля, то, что само тянулось из нее на свет к солнцу, но оказалось, что самые богатства упрятаны далеко внутри.

Денно и ночью гудели теперь машины, допоздна светились огнями окна нового клуба, где на всю мощь гремела радиола.

Тесно стало в поселке от бородатых геологов, нефтеразведчиков, строителей, одна за другой выходили замуж за приезжих колхозные девки, и новый председатель Григорий Федорович, вздыхая, выписывал деньги на свадьбы.

Между тем начались новые объединения и укрупнения – соединился с соседним наш район, и новое районное начальство решило укрепить ближние хозяйства за счет дальних. Наша артель была дальней и ее влили в расположенную рядом с райцентром. Поздней осенью увезли на барже машины, которые мы завели, коров, лошадей... Всю постройку бросили, дешевле строить заново, чем ломать и везти в такую даль...

Как-то, уже работая в городе, я приехал осенью по командировке в то самое село, куда в свое время свезли наше колхозное достояние. Колхоз здесь реорганизовался в совхоз, село строилось, росло, и ничто уже не напоминало о том, что здесь есть частица труда Антоныча, Ольги Филипповой, моего и всех наших деревенских.

Мне надо было попасть на ферму, и, сойдя с автобуса, я направился к белевшим на краю села длинным фермовским строениям. В страдную пору улица была безлюдной, только, деловито рокоча и трясясь на ухабах, меня обогнал новенький колесник с замызганной прицепной тележкой да два самосвала провезли куда-то кирпич. По всей улице из конца в конец тянулся бугор желтой глины – в селе прокладывали водопровод.

Держась ближе к городьбе, я свернул в ведущий к ферме проулок. В нескольких шагах от меня, возле бревенчатого сарая, лохматый парень стегал запряженную в водовозку клячу.

Одно колесо по ступицу утонуло в заплывшей грязью колее, и лошадь тщетно тянула из хомута худую шею, пытаясь выдернуть увязшую бочку. Что-то мне вдруг напомнило нашу деревню.

– Эй, ты! – окликнул я парня. – Обожди, не стегай!

Он опустил вожжи и оглянулся на меня.

– Сейчас помогу, – сказал я. – Тут стяжок нужен.

Все-таки я вырос в колхозе, где работали на лошадях, а этот парень был уже из другого поколения.

Подняв валявшуюся на обочине сломанную жердь, я подsunул ее под ось и с трудом приподнял:

– Трогай!

Парень дернул вожжи, и конь, натужась, вытащил водовозку из колеи.

Я опустил пониже чересседельник, ослабил хомут, давивший подрагивавшую узловатыми жилами шею тяжело дышащего мерина, из-за которого мои туфли захлебнулись грязью, и снова что-то знакомое почудилось мне в этом нескладном костистом одре.

– Слушай, что это за конь? – спросил я.

– Обыкновенный, совхозный. – Парень циркнул слюной сквозь зубы и стал соскребать об обод колеса нальнувшую на сапоги глину. – Давно на колбасу пора...

Мерин стоял понуро, опустив голову, ребристые бока его, покрытые клочковатой шерстью, стали вздыматься тише, ровнее, и сам он уже словно дремал. Сведенные старостью и работой ноги его оплыли. Левая задняя была белой. Я видел это, несмотря на насохшую грязь.

– А все-таки откуда он у вас?

Я уже узнал коня, хотелось лишь удостовериться. Парень неопределенно махнул рукой:

– Оттуда откуда-то, с Васюгана.

Он даже не знал, как называлась наша деревня. Он ничего не знал.

– Кличка его какая?

– Кличка – язык сломаешь. – Парень ухмыльнулся. – Черт знает какая кличка – Буцефал.

– Нет, не Буцефал он вовсе, – сказал я и погладил мерина по пролысине меж усталых, слезящихся глаз. – Не Буцефал он, а Пышкин.

Конь вздрогнул и насторожил уши.

– Пышкин, Пышкин, – повторил я.

Обнажив полусъеденные желтые зубы, мерин легонько, как-то по-жеребьячьи, заржал и мягкими влажными губами ткнулся мне в руку.

*Редколлегия журнала сердечно поздравляет ветерана писательского цеха Вадима Николаевича МАКШЕЕВА с его девяностолетием и желает ему доброго здоровья и бодрости духа.*